

*Я прощаюсь со страной, где
Прожил жизнь, не разберу — чью.*

Евгений Клячкин

*Куда бы ни пошел — везде мой дом,
Чужбина мне страна моя родная.*

Франсуа Вийон

У меня нет дома. На седьмом десятке, вступив в возраст старейшин, я обнаружил это. Свобода прекрасна и пуста, как бесплатная квартира. Странное чувство внутренней неуютности и незавершенности оформилось вот в такие слова. За словами жизнь.

Я родился на Украине. Отец дослуживал после войны в Группе советских оккупационных войск в Германии. По кривому булыжнику каменец-подольской улочки шла из бани курсантская колонна и пела: «Белоруссия родная, Украина золотая!»

Через два года отца перевели на Дальний Восток. Полковой гарнизон стоял в тайге, потом в забайкальской степи, потом на станции Борзя. Там я пошел в детский сад и в школу, вступил в пионеры и в комсомол.

Отца перевели в Белоруссию, на очередную должность и звание, я учился в восьмом классе и закончил школу в Могилеве.

И поступил на филфак Ленинградского университета: в Ленинграде жил дед, там лежали на кладбище несколько поколений отцовского рода.

Потом много лет энергия молодости мотала меня по стране, и не было внутренней разницы между Таймыром и Ташкентом, Камчаткой и Крымом. Пространство жизни было едино и стабильно, его хотелось взломать и переиначить. Но гра-

ницы стереглись на замке: обреченность, уверенность и покой перетекали друг в друга.

Уже за тридцать я переехал в Эстонию издавать первую книгу. Выгоды местного колорита подчеркивались государственным единообразием империи. Целостность ее ткани была плотней парашютного шелка.

Мне близилось сорокачетырёхлетие, когда Союз распустили — лезвием по швам. Крушение крепостных преград выглядело не так, как грезилось узникам в удушьи. Патриотизм объявили убежищем негодяя, и у каждого негодяя объявилось собственное убежище. Братство тюрьмы народов сменилось отчуждением всех против всех.

Мы ненавидели кретинскую демагогию кремлевских старцев и мечтали дожить до развала СССР с его запретами, ложью и скудостью. Но как само собою разумеющееся полагали дружбу народов, расцвет наук, праздник искусств и взлет экономики. Потому что настанет свобода, а свобода — это правда, это возможность делать то, что ты любишь, это счастье и справедливость.

Но миром правят циники, эгоисты и реалисты. Меняется лишь форма их деятельности.

На Украине, где я родился, (вместо этого предписали было говорить «в Украине»), отшумела революция, народ на киевском Майдане скинул президента-вора, в разламывающейся стране разгорелась «этнически-гражданская война».

Белоруссия, где я кончил школу, называется Беларусь, ее правление называют диктатурой, и Россия требует от ее президента продать русскому бизнесу все ценное в стране и обвиняет в изживенчестве.

Эстония, где вышли мои первые книги и я вступил в Союз писателей СССР, где я женился и ро-

дилась моя дочь, сегодня член Объединенной Европы и НАТО, и в России поминается исключительно как пристанище недобитых фашистов и угнетателей русского меньшинства.

Советская Средняя Азия, где я легко и счастливо бродяжил, впала в ислам, феодализм, средневековье, нищету. Ереван, где впервые был в журнале напечатан мой рассказ, стоит без топлива, полуобезлюдивший, отрезанная от России Армения зажата между Турцией и Грузией.

Родное Забайкалье встретило меня зияющими почерневшими коробками опустевших военных гарнизонов. Пусты мясокомбинаты и элеваторы. Импорт.

Родной Ленинград называется Санкт-Петербург. В нем изуродован Летний Сад (чтоб у них руки отсохли). В нем интригуют сносить здания исторического центра: бизнес превышает все. В университетских вестибюлях — секьюрити и рамки металлоискателей.

По вечерам я звоню старым друзьям: меньше в Минск, Вологду и Читу, больше в Нью-Йорк, Лондон и Париж. Звонить теперь свободно; уезжать тоже.

Земля! Земля! Я Хабибулин — кто я?.. Кто я? — Ты сокол. Твою мать. Сокол ты, понял?..

Вот уже двенадцать лет я живу в Москве. Я купил квартиру. Здесь выучилась дочь. У нас завелась кошка. У меня никогда не хватает времени и на половину всего, что нужно сделать. Звонят два телефона.

Отчего же так грустно генералу Черноте, доцент?

Лучший на свете город — мой родной Ленинград. Нужно увидеть мир, чтобы оценить его. Хотя для любви это не обязательно.

Я в нем не живу. Потому что лучшие люди на свете живут в Москве. Худшие тоже, но ты не

обязан любить всех. В этом грандиозном и от-
вратном мегаполисе творится все главное.

И вспоминаю, что когда-то мечтал прожить
жизнь в Ленинграде. Когда-то мечтал уехать в
Нью-Йорк. И когда-то мечтал построить к ста-
рости собственный дом, хороший и красивый, в хо-
рошем месте, — а сейчас при мысли о коттедже
в престижном пригороде меня тошнит.

Мои года — мое богатство.

Понимаете, память у меня, наверно, хорошая.
Так я и продолжаю жить во всех местах, где
жил, во всех временах, когда это было. Странник,
играющий под сурдинку.

Мой дом — это моя семья и письменный стол.

Мой дом — моя память.

Возможно, в КГБ — или в магазине наглядных
пособий — для меня просто не оказалось второго
глобуса.

Я живу всю жизнь с ощущением, что закончив
эту работу мне необходимо переместиться в дру-
гое место к другой работе, другому образу жиз-
ни, — они меня уже ожидают. Доперемещаюсь.
Ну-ну.

Пампасы

КОЛХОЗ

Дорога в жизнь начиналась с водки с картошкой. Водку пили, картошку собирали, совмещение этих занятий называлось счастье труда.

На этой дороге меня и сбил автобус. Мы шли по обочине с поля на обед и любили Чехова. Чехов гениально сказал об идиотизме сельской жизни.

Автобус смахнул меня по касательной в левый бок и плечо. Я осознал толчок и полет, открутил высокое сальто и пришел на бок, сгруппировавшись. Когда я вскочил, зеленый автобус небыстро удалялся, вихляя. Потом мне сказали, что он был желтый с синим низом. Наложение цветов.

Во-первых, штаны у меня лопнули с боков по швам, и отворились спереди до колен, как отстегнутые флотские клеши. И я пошел, держа штаны руками. Во-вторых, я упал головой в двадцати сантиметрах от здорового валуна, и еще долго переживал. В-третьих, судьба посулила, что нет мне добра от сельскохозяйственных работ. В-четвертых, вместо обеда меня тошнило.

Колхоз предавался трем занятиям: а) спивался, б) разбегался, в) выполнял план. С первыми двумя пунктами он успешно справлялся сам, в третьем тре-

бовал помощи. Народ бросали на помощь. Вдохнув сельского воздуха, народ начинал спиваться и разбегаться.

Итак, по утрам бригадир ставил нам дневное задание. Корячась носом книзу, нерадивые рабы ковыряли из борозд картошку и бросали в ведра. Начинаясь изжога. Сельский пекарь был редкий умелец. От его черных глиняных буханок аж скрючивало. А с наклоном жгло душу от пупка до ноздрей.

Наполненное ведро высыпали в ящик. Полный трехведерный ящик опорожнялся в тракторный прицеп. Это был небольшой, полутонный кузов. А трактор был типа мини-«Беларусь». Садовый ДТ-20. Простая колесная машина.

Это была дурацкая работа по дурацким расценкам. У земледельца вообще мало шансов разбогатеть. Но поправить свое положение можно.

— Пацаны, накидайте-ка мне кузовок картошечки получше, — сказал тракторист нам троим. Мы с Вовкой и Серегой держались вместе и в слабосильной команде делали что труднее. — Почисте там, по ровней!

И заржал. Он был рыжий, его звали Васькой, он был всегда поддат и всегда ржал. Иногда он ложился на полчаса поспать в траве у поля, а трактор вел по борозде от ящика до ящика один из нас. У руля ходил огромный люфт, а остальное примитивно.

— Вон там давай, там с верхнего края она посуше! — указывал и командовал он.

Кому и тракторист начальство. Работяге по фиг дым. Накидали и забыли.

И вот вечерняя идиллия. Кусты, пруд, закат, деревянный дом на холме. В кустах сырость, пруд воняет, в доме на нарах лежим мы, соломенные тюфяки пролеживаем. Небогатый ужин внутри бурчит, не может перевариться. Заходит один:

— Там к вам пришли. Зовут.

— Кого — зовут?

— Говорят — Мишка, Серега и Вовка.

Отродясь к нам в этой деревне никто не приходил. Бить? Так мы и на танцы не ходили...

— Возьмем-ка лопаты, — рассудил Серега. — Не помешают.

И мы с лопатами наготове крадемся на полусогнутых. А за кустом сидит наш Вася и ржет:

— Так копать понравилось, что и за стол с лопатой?

Он распахнул ватник, как петух крылья, возвещая заветный час. За пояс были заткнуты четыре бутылки. Так матросы бросались под танк. Мы не поняли, откуда что зачем.

— Так картошка! — ржал Васька. — Старушке ссыпал в подпол, Егоровне! Считай, по два рубля мешок. Двадцатку дала. Я уже одну выпил. И похмелиться оставил. А это ваше. Вместе. Вы чо?

Мы растроганно впечатлились. Возбудились. Стоношили закуску: хлеб, огурцы и томатную пасту. Газету подстелить и кружку на каждого.

Васька развел пузырь на троих, а себе по донышку:

— Пацаны, это вам, я уже!

Звяк, бульк, крик, хэк! Хорошо пошла! Кто как, а я сто пятьдесят залпом пил впервые. Этот молотовский коктейль назывался «Охотничья» и градусов имел сорок три оборота.

Мы хрустнули огуречно, зажевали черняшкой, омокнутой в томат, и улыбнулись друг другу в теплом и ласковом мире.

— Хорошо пошла! — ржал Васька, и мы закурили, вмазавшие мужики после работы.

Дальше произошло неожиданное.

— Между первой и второй — промежуток небольшой! — объявил Васька и развел вторую бутылку.

Мы-то думали, что три оставшиеся он отдаст нам

так. И мы распорядимся добром когда захотим. И отнюдь не сразу.

Наш матерый механизатор взялся за дело всерьез.

— За все хорошее! — провозгласил он, и мы выпили.

Пить оказалось делом нехитрым. Но мысль о последствиях пугала. Это была последняя отчетливая мысль.

Оказалось, что мы обсуждаем политику и проблемы сельского хозяйства. Расценки низкие, на трудодень хрен целых шиш десятых, начальство все берет себе, а народ ворует все остальное. А народ у нас — никого ничего не колебает.



*Искусство
создало идеальных
тружеников. Они
кормили страну.*

*Они работали
тяжко, пили много
и старились рано.*

*Но они верили
в завтрашний
день.*

— Васька, а у тебя почему трактор без аккумуляторов?

Трактор он если глушил, то всегда на взгорке, и заводился на свободном ходу.

— Да не дают мне аккумуляторов.

— Почему?

— Да я с аккумулятором вообще весь колхоз разворую! — ржал Васька.

Третья бутылка не напугала нас совершенно.

— Пацаны, молотки, по-нашему держим!

У Сереги в руках образовалась битая гитара, собранная им буквально из щепок, найденных в кустах за клубом:

Мы с миленком целовались
От утра и до утра,
А картошку убирали
Из Москвы профессора! —

со старательным чувством орали мы, поддавая удалы на матерных строках.

Мы обнимались и хотели все быть трактористами, а Васька убеждал, чтоб ноги здесь никого не было.

Из последней бутылки наливали какой-то девице, она тянулась к Васькиному плечу и бесконечно калячила:

— Ва-а-ся-а, ну возьми меня на блядки!

— Уйди, дура!

— Ва-а-ся-а, ну пожалуйста-а, возьми на блядки разо-о-очек!..

Негодяй-Васька выставил пятую бутылку огненной воды. «Охотничья» была рыжей; как его чуб. Она таилась за ремнем на спине. Мы поняли, что смерть настала. Выпили и осознали смысл жизни в том, чтобы покататься на тракторе.

Мы разогнали его бегом, вдвоем вспрыгнули за руль, и через двадцать метров легли в кювет. Мы хохотали на всю ночную округу. Подошел Васька, отбрыкиваясь уже от двух девиц. Он пользовался успехом.

Я заблудился. Я чеканил строевой шаг туда и обратно по отрезку дороги, который вел из ниоткуда в никуда. Для поддержания сознания я орал строевые